

Через штиль и шторм: история чтения в России XVIII столетия

Through the Calm and the Storm: The History of Reading in Eighteenth-Century Russia

Константин Бугров
Институт истории и археологии Уральского отделения
Российской Академии наук
Уральский федеральный университет

Konstantin Bugrov
Institute of History and Archeology,
Ural Branch of the Russian Academy of Sciences
The Ural Federal University
k.d.bugrov@gmail.com

Damiano Revecchini and Raffaella Vassena, eds. Reading Russia: A History of Reading in Modern Russia, vol. 1. Milan: Ledizioni, 2020, 295 p. ISBN 9788855261920

Рецензируемое издание – первый из трех томов, посвященных истории чтения в России с конца XVII до XXI в. Трехтомник этот вышел в 2020 г. под редакцией Д. Ребеккини и Р. Вассены, специалистов по истории российской литературы из Университета Милана. В основу трехтомника легли материалы крупной конференции по истории литературы, издательского дела и чтения в России, которая состоялась в Милане в 2017 г.; плодом нескольких лет работы и стала крупнейшая на данный момент коллективная работа по истории чтения в России, хронологически ограниченная XVIII – XX столетиями.

История чтения? Не то, чтобы это направление исторических изысканий было принципиально новым; штудии такого профиля ведутся в руссиеведческой традиции давно, достаточно вспомнить хотя бы “петербургско-ленинградскую школу изучения читателя.”¹ Однако “читателеведение” остается разновидностью “книговедения”, попадая в старинную, почитаемую ветвь знания, столь же полезного, сколь и методически консервативного: изучение состава библиотек, циркуляции книг, книготорговли – словом, истории бытования текстов. С другой стороны, крупным импульсом для развития “книговедческих” изысканий стал интерес ученых к концепциям публики (в первую очередь, конечно, читающей публики), связанные с развитием тех положений, которые представлены в

¹ О. Н. Ильина, “История русского читателя... Продолжение,” *Вестник Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств*, 1 (2010), 176a-177. (O. N. Il'ina, “Istoriia russkogo chitatelia... Prodolzhenie,” *Vestnik Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta kul'tury i iskusstv*, 1, (2020), 176a-177).

работах Ю. Хабермаса, М. Маклюэна и других авторов, изучавших проблему формирования нового общества эпохи Модерна через призму чтения. Это тоже история чтения, но создаваемая с другого конца: чтение здесь понимается не как библиографическая последовательность “циркуляции текстов,” а как основополагающий социальный процесс. Наконец, существует богатая традиция изучения чтения как социального императива, дисциплинирующего элемента, определяющего ту или иную поведенческую практику человека. Здесь в первую очередь надо назвать работы Ю. М. Лотмана. Все эти виды и роды аналитического знания о тексте и о чтении в последние годы движутся друг другу навстречу, интегрируются, создают разнообразные мультидисциплинарные амальгамы – достаточно назвать недавнюю чрезвычайно интересную работу историка и филолога А. А. Костина, детально реконструирующую процесс “потребления” российскими читателями поэтических текстов в середине XVIII в.²

Впрочем, внимание гуманитарного знания к чтению было вызвано не только обрисованной выше разработкой исторической проблематики. Дискуссия о характере и роли чтения в обществе была связана с рефлексией по поводу самого научного познания, осуществлявшейся в постструктуралистской и постмодернистской философии – как отмечала в 2006 г. исследовательница французской литературы И. К. Стаф, “прошлое доступно нашему восприятию прежде всего в форме письменных текстов, а деятельность самого историка состоит в порождении новых текстов повествовательного характера, подчиняющихся тем же риторическим нормам, что и тексты литературные, вымышленные... Проблематизацией роли текста в историческом анализе и, шире, в осмыслении статуса и возможностей гуманитарных наук во многом и объясняется значение, которое приобрело в 1980 – 1990-е годы, сначала во Франции, а затем и далеко за ее пределами, новое направление в историко-культурных исследованиях – история чтения.”³ Здесь ключевыми фигурами являются Р. Шартье, М. де Серто и ряд других авторов, предложивших новаторскую программу изучения истории чтения; важным источником влияния становятся специалисты по языку – например, П. Рикер.⁴ Уже в 2010 г. видный исследователь социальных проблем библиотечного дела, сотрудник Российской национальной библиотеки Д. К. Равинский так обрисовывал контуры практического применения этой программы:

Работы по истории чтения, появившиеся в последние годы, старались ответить на вопросы не просто о том, кто читал и что читал, но – когда люди читали, где они читали, почему и, самое

² А. А. Костин, “Русская печатная поэзия середины XVIII века и потребление: предварительные замечания,” *Новое литературное обозрение*, 4, (2020): 140-160. (A. A. Kostin, “Russkaia pechatnaia poeziiia sere diny XVIII veka i potreblenie: predvaritelnye zamechaniia,” *Novoe literaturnoe obozrenie*, 4 (2020): 140-160.

³ И. Стаф, *Роже Шартье: уроки истории чтения*, в Р. Шартье, *Письменная культура и общество* (Москва: Новое издательство, 2006), 245. (I. Staf, *Rozhe Shart'e: uroki istorii chteniia*, v R. Shart'e, “Pis'mennaia kul'tura i obshchestvo (Moscow: Novoe izdatel'stvo, 2006), 245).

⁴ Упрощая, можно сказать: адаптация Рикера в области “книговедческой” дает нам новую “историю чтения” примерно так же, как адаптация Рикера в области истории общественно-политической мысли дает нам “новую интеллектуальную историю” в духе Кв. Скиннера и Дж. Покока.

главное, как они читали. Последний тезис все чаще заявляется уже в заглавиях работ, посвященных истории чтения.⁵

Все эти научные направления, в той или иной мере вытекающие из исторически ориентированного познания, существуют в пространстве куда более широкой дискуссии, связанной с феноменом чтения вообще и приобретшей особую значимость в последние десятилетия, когда утвердившееся было в центре современной культуры бумажное издание столкнулось с острой конкуренцией со стороны разнообразной электроники.⁶ Перечислять разработки в данной сфере мы не станем из-за исключительного богатства проблематики – упомянем лишь крупные исследования по данному направлению, проводящиеся в Челябинске усилиями В. Я. Аскаровой и ее коллег.⁷

Словом, океан современной истории чтения – огромное пространство со множеством островов, заливов, скрытых камней и отмелей, в некоторых его частях царит штиль, а в других – свирепствует буря. По этим-то морям и отправляется в плавание корабль трехтомной *Истории чтения в современной России*, изданной усилиями Ребеккини и Вассены. Проследуем и мы по его маршруту.

В нашу задачу не входит анализ чрезвычайно обширного и содержательного предисловия, написанного для всего трехтомника и помещенного в первый том. Упомянем лишь ключевые тезисы, являющиеся отправными пунктами для нашего плавания. Д. Ребеккини и А. Вассена начинают с обозначения предмета, на изучение которого направлен изданный ими трехтомник (здесь и далее перевод наш. – К. Б.):

Под “чтением” мы подразумеваем, кроме прочего, процесс “визуального столкновения с письменным текстом,” в котором присутствует некоторый уровень интерпретации. Такая широкая концепция чтения позволила нашим авторам быть достаточно гибкими в выборе источников и материала для анализа. Предлагаемые ниже главы содержат анализ различных медиа: от надписей на триумфальных арках до магазинных вывесок, рукописей, самиздатовской продукции, сценариев кинофильмов, а также, естественно, книг и журналов, которые, несомненно, занимают львиную долю этой истории российского чтения.

⁵ Д. Равинский, “История чтения: раздвигая границы исследовательского пространства,” *Новое литературное обозрение*, 2 (2010): 308-315. (D. Ravinskii, “Istoriia chteniia: razdvigaia granitsy issledovatel'skogo prostranstva,” *Novoe literaturnoe obozreniia*, 2 (2010): 308-315.

⁶ В. Я. Аскарова, “Методологические аспекты изучения чтения современной молодежи,” *Известия Уральского федерального университета. Серия 3: Общественные науки*, 4, (2018): 82-93. (V. Ia. Askarova, “Metodologicheskie aspekty izucheniia sovremennoi molodezhi,” *Izvestiia Ural'skogo federal'nogo universiteta. Seriiia 3: Obshchestvennyye nauki*, 4, (2018): 82-93.

⁷ Ю. Н. Столяров, “Коллективные монографии о чтении: аналитический обзор,” *Вестник культуры и искусств*, 4(52), (2017): 183-195. (Yu. N. Stolyarov, “Kollektivnyye monografii o chtenii: analiticheskii obzor,” *Vestnik kul'tury i iskusstv*, 4(52), (2017): 183-195.

Результат представляет собой попытку осветить процессы знакомства российских читателей с письменным словом и его апроприации, протекавшей в специфических культурных и социальных обстоятельствах, характеризующих российское и советское пространство последних трехсот с половиной лет. Если считать чтение “практикой, которая всегда реализуется в специфических актах, местах и манерах” (Г. Кавалло, Р. Шартье), разделяемой определенными “интерпретирующими сообществами” (С. Фиш), то цель данного издания – выявить и определить, в пределах каждой хронологической темы, основные трансформации, влиявшие на форму и смысл этих актов, мест и манер в связи с сообществами, которые их порождали (с. 14).

Этот методологический постулат определяет направленность и характер работ, включенных в первый том, специально посвященный истории чтения в России XVIII столетия.

Открывает том обзорная статья Д. Уо “Как мы можем писать историю чтения в России до восемнадцатого века?” Эта статья посвящена анализу проблем чтения в Древней Руси, преимущественно XVII в.: последовательно рассматривая историю книжных собраний (в том числе собрание Кирилло-Белозерского монастыря), бытование рукописных сборников, развитие книгопечатания в России, а также анализируя целый ряд научных работ по теме (особое внимание уделив трудам И. В. Поздеевой, О. Е. Кошелевой, М. А. Шибаева, Р. Романчука), Уо выносит вердикт: для XVII столетия у историков не существует источниковой базы, позволяющей верифицированно описать социальную картину чтения во всей полноте. Это, конечно, не означает отказа от поисков в данном направлении:

Изыскания в области грамотности и чтения могут с полным правом подчеркивать значимость распространения грамотности и чтения среди всех слоев общества в создании современного мира. Однако есть свидетельства того, что некоторые читательские сообщества, высоко ценившие книги и чтение в целом, стремились такой оценкой усилить свою приверженность традиционным (если угодно, “домодерным”) ценностям. Случай староверов – яркий тому пример [...] Чтобы изучать чтение в домодерной России (не могу избежать такого обозначения, как бы ни хотелось от него избавиться), требуется много работы, в которой мы должны насколько возможно освободиться от готовых концепций относительно предмета поиска и осознать, что подобный отказ способен поставить под вопрос все, что, как нам кажется, мы знали. Новая картина будет довольно запутанной. Но, по крайней мере, многие из вопросов, которые мы можем обоснованно поставить, будут иметь значение для любого научного анализа феномена чтения, какое время и место ни возьми (с. 70-72).

В сходном ключе выдержана статья Г. Маркера “Восемнадцатый век: от читающих сообществ к читающей публике” – крупнейшая по объему среди материалов, включенных в том. Можно считать эту пространную работу методологическим

манифестом тома: автор анализирует ряд ключевых конвенций относительно интеллектуальной и книжной традиции XVIII столетия, подвергает их критике, стараясь обнаружить новые методы и подходы, которые позволили бы продвинуться в изучении читательской среды указанной эпохи. Глава построена вокруг идей, которые Маркер обозначает как “парадокс де Серто,” ссылаясь, конечно, на знаменитую работу М. де Серто “Практики повседневности:” здесь история чтения предстает как “браконьерство” – с помощью этой метафоры де Серто характеризует одновременно невозможность независимого от внешних факторов читательского восприятия текста и ограниченность влияния таких факторов на поведение читателей (с. 78). На стыке дисциплинирующего импульса текста и креативной автономии читателя и возникает, согласно Маркеру, история чтения. Сообразно этому Маркер предлагает деление глав трехтомника на “теоретические” (ориентированные на реконструкцию авторской интенции) и “эмпирические” (направленные на изучение читательских “тактик”).

Подрывает ли концепция раннего Модерна конвенцию о том, что читающая публика XVIII столетия, особенно в царствование Екатерины Великой, резко отличалась от той, что ей предшествовала? Или же, если принять более плюралистическое определение чтения, которое признает длящееся и даже ширящееся влияние православного обучения и текстов, будет ли появление публики, или даже идеи публики, менее эпохальным, чем мы на протяжении долгого времени себе представляли? (с. 85)

Маркер приходит к выводу:

Взятая *in toto*, история чтения не подтверждает гипотезу о восемнадцатом-веке-как-Московии. Скорее, она подкрепляет старое предположение о том, что – в культурном отношении – долгое восемнадцатое столетие привнесло новые практики, резко отличавшиеся даже от городских, европеизированных практик грамотности позднего Московского государства. Появление светской грамотной публики, развитие печати и особенно взрывной рост секулярного книжного дела; символическое отделение церковной орфографии от гражданской, европеизация культуры элиты, приоритет чтения и письма над созерцанием, а также и другие перемены отличают культурный облик восемнадцатого века от культуры того столетия, которое ему непосредственно предшествовало. Наше столетие все еще значимо. Специалисты по XVIII веку могут вздохнуть с облегчением (с. 11).

Впрочем, для Маркера этот вздох вовсе не означает, что не существует методологической проблемы, задаваемой понятием секуляризации, которое остается для изучения XVIII столетия центральным. Резкое деление российской культуры на “традиционную” и “вестернизированную,” “религиозную” и “светскую” является чрезмерно прямолинейным, поэтому автор предлагает – отталкиваясь от истории чтения:

Другой тип картографирования, в большей степени полицентрический или скалярный, помещающий восемнадцатый век в рамки более продолжительного раннего Модерна, динамичного и подчас радикально рвавшего с прошлым (возникновение светской читающей публики), и все же сохранявшего громадное количество московских культурных практик. Здесь мы возвращаемся к антидетерминистским или антиредукционистским подходам, призыву отвергнуть, с одной стороны, сведение “чтения” к читающей публике и ее эпигонам, и с другой стороны – избежать искушения изобрести (или воскресить) иконическую, самопровозглашенную, несвязанную или антиканоническую когорту народных читателей, вроде “демократической интеллигенции” ушедшей эры. Де Серто был, разумеется, прав, настаивая на мощи предписывающих иерархий, внутри которых протекает *любое* чтение. И все же, с учетом текущего состояния нашего научного поля, я полагаю, что мы, как исследователи, были бы правы, если бы уделяли особенное внимание ограничениям этого поля, находя следы неожиданных (или даже еретических, говоря словами де Серто) практик чтения, осуществлявшихся тем или иными грамотными чудаками восемнадцатого столетия, не принадлежавшими к элите” (с. 112).

На взгляд Маркера, при всем высоком значении читающей публики, сложившейся во 2-й половине XVIII в., необходимо все же рассматривать их в контексте “более сложной и гетерогенной сети читателей и читательских практик;” сам автор приводит в качестве примера читателей вроде купца И. А. Толченова (чье творчество изучалось, в частности, Д. Ранселом) или анонимного автора “Вятской хроники,” которые “читали и рефлексировали на пересечениях культурных потоков, переплетали старое и новое в своем читательском выборе – религиозное и светское, литературное и литургическое, сатиры и жития святых – без видимой потребности присоединиться к тому или иному лагерю либо категорически определить свою позицию” (с. 112-113).

Глава, написанная К. Осповатом, называется “Реформирование подданных: поэтика и политика чтения в России раннего восемнадцатого века.” Посвящена она трансформациям стратегий чтения под давлением политических нужд и амбиций. Осповат показывает, что изменение статуса и характера чтения было – кроме прочего – способом по-новому связать власть и подданных, своеобразной техникой дисциплинирующей политической индоктринации, отличавшейся от старомодной и прямолинейной индоктринации религиозной. Двумя основными моделями чтения, сложившимися к 1740-м гг., были – согласно Осповату – “гражданский гуманизм,” предполагавший воспитание ревностных и хорошо обученных слуг государя, и “абсолютизм,” требовавший интериоризированной и безусловной любви-послушания к монарху. Два эти течения своеобразно переплетались при дворе Елизаветы Петровны, приводя к появлению все большего числа переводных наставлений для придворных и придворной литературы, создававшейся такими авторами, как М. В. Ломоносов или

В. К. Тредиаковский. В этой среде первоначальный импульс, данный петровским Просвещением, начал развиваться неожиданным путем:

Если для Петра наделение подданных интеллектуальной мощью с помощью обучения и чтения было способом культивации служебного рвения, диалектическим следствием такого процесса оказалось возникновение свободомыслящих слуг, готовых к самостоятельной политической рефлексии и действию (с. 132).

Склонность “слуг” к самостоятельности проявилась в 1730 г., когда Верховный Тайный Совет попытался овладеть властью; поражение этой, по выражению Осповата, “бесславной революции” закрыло путь для дальнейшего развития “гражданского гуманизма” широко мыслящих и самостоятельных слуг Отечества. Новая модель чтения создавалась по лекалам французского монархизма, опиралась на такие сочинения, как “Аргенида” Дж. Барклая. Итогом ее развития стало появление в екатерининскую эпоху “светского благочестия,” на которую опиралась теперь дисциплинарная политика российской монархии, намеренно смешивавшая этику и службу (в этом утверждении Осповат до известной степени следует за работами И. Клейна); и в то же время – появление нового образца для поведения, просвещенного придворного, описываемого “узнаваемо гуманистским, гораццианским языком удовольствия и выгоды.” Осваиваемое такими придворными “пространство культивируемого досуга – одновременно отделенное от дела, то есть государственной службы, и сливающееся с ним – описывалось как черта социального отличия, модус коллективного существования, характерный для нового поколения дворянской элиты” (с. 142).

Р. Боден, авторству которого принадлежит глава “Чтение во времена Екатерины II,” предлагает общий обзор новаций в чтении 2-й половины XVIII в. Среди этих новаций первой Боден называет рост объемов книжной продукции и, в частности, рост числа произведений в жанре романа: “Сокрушительный триумф легкой прозы в целом и нового жанра романа в частности – феномен, ожидавшийся со страхом еще в конце 1750-х и начале 1760-х годов крупнейшими поэтами русского классицизма – совершился” (с. 159). Как и Осповат, Боден подчеркивает интеграцию этой развлекательной литературы в общее дисциплинирование, которое во 2-й половине XVIII в. сменяло прямое принуждение высшей социальной России – дворянства – к службе. Меньший успех ожидал журналы: продавались они хуже, однако своим относительно малочисленным читателям они дарили новые ощущения, так как “структурировали временной опыт иным образом:” новые эмоции вызывало ожидание нового выпуска журнала с продолжением любимшегося текста. Одновременно появились в России особые сегменты развлекательной литературы, ориентированные на женщин и детей, причем женщины (здесь Боден ссылается, кроме прочего, на недавнюю фундаментальную работу *The French Language in Russia: A Social, Political, Cultural, and Literary History* Д. Оффорда, В. Ржеуцкого и Ж. Арджент)⁸ читали преимущественно на

⁸ См. рецензию: Д. А. Кондаков, “Если бы не происшествие с Вавилонской башней, или Почему вся Россия не заговорила по-французски,” *Quaestio Rossica*, 8(3), 2020: 1051–1062. (D. A. Kondakov, “Esli

французском языке. И хотя основными потребителями литературы в стране все равно оставались взрослые мужчины, социальные границы этого слоя также расширялись: чтение в целом становилось более демократичным, а также, что не менее важно, географически диверсифицированным, постепенно шагая из столиц в провинцию. Вся эта таксономия новаций – изложенная четко и последовательно, что делает главу, написанную Боденом, своего рода обобщающим центром всего тома – увенчивается характеристикой амбициозной программы Карамзина:

Читатели рассматривались как все более и более автономные в социальном смысле, чтение же становилось эмансипаторной практикой. Читатели отныне не считались детьми, а взрослыми, если применить известную кантовскую метафору Просвещения... Проблемой, впрочем, оставалось то, что в планах Карамзина независимое чтение предназначалось не только для императорской семьи, но и для всей образованной публики; следующим шагом после автономии в чтении стала бы автономия мысли. Амбиции Карамзина заложили основание для превращения чтения в общее обсуждение для образованной аудитории, разворачивавшееся параллельно с традиционным диалогом между публикой и властью, а подчас и готовое этот диалог заместить” (с. 177).

Это не означает повторения старого тезиса М. Раева о парадоксе российского самодержавия, одновременно стимулировавшего активность своих подданных и жестко их ограничивавшего; Боден усматривает противоречие между стремительным ростом российской литературной сферы и стремлением узкого круга наиболее влиятельных игроков (двор, издатели) держать этот рост под контролем. Все же этот тезис нуждается в определенном прояснении.

О том, как рост литературной сферы влиял на изменение читательских практик в конкретном социальном слое, повествует статья Е. И. Кисловой “Что, как и почему читало православное духовенство в России восемнадцатого века.” Эта работа представляет собой выверенное, насыщенное множеством ценных деталей исследование литературных предпочтений отечественных священнослужителей. Кислова делит их на две неравные группы – “образованный” клир, вышедший из стен специализированных учебных заведений и составлявший элиту православной церкви, и “традиционное” священство, учившееся в семьях и составлявшее большинство священнослужителей в стране. “Образованные” священники были в полной мере затронуты трансформациями книжной индустрии России 2-й половины XVIII в., рост книжных тиражей и сдвиги в жанровой структуре отразились и в их предпочтениях:

Рукописные сборники и списки пропавших книг указывают на то, что большая часть литературы, представлявшей для священников интерес, не попадала в семинарские каталоги и описи; эти тексты относились в основном к современной сентиментальной поэзии и

широкому кругу развлекательной литературы, не исключая и иностранные сочинения в русском переводе” (с. 201).

Глава, написанная Кисловой, дает детальную характеристику разнообразным предпочтениям “образованных” священников, составлявших, в свою очередь, чрезвычайно важную часть читающей России XVIII столетия в целом.

Глава авторства А. Зорина “Революция чтения? Концепт читателя в русской литературе чувственности” выстроена вокруг понятия “интенсивного чтения.” Здесь Зорин отсылает к полемике вокруг идей Р. Дарнтон, который когда-то оспорил сложившуюся конвенцию о том, что XVIII в. является периодом перехода от “интенсивного чтения” авторитетных и как правило религиозных текстов раннего Нового времени к “экстенсивному чтению” современной эпохи с ее потоком массовой литературы для развлечения. Дарнтон же настаивал на том, что новый тип чтения, опиравшийся на “эмоциональную связь между миром книги и повседневной жизнью читателя,” оставался “интенсивным,” только интенсивность теперь приобретала другой характер (впрочем, как подчеркивает Зорин, сходные идеи еще раньше выразил Н. Фрай). Таким образом, развлекательная литература, во 2-й половине XVIII в. все в большей мере демонстрировавшая своеобразный “наивный реализм,” преподносила читателям уроки правильной чувствительности. Уже к середине XVIII в. литература закрепились в России в качестве учебника жизни, призванного продвигать правильные модели поведения. Одной из таких моделей была модель благородного дворянина, движимого – согласно официальным прокламациям – честолюбием и любовью к монарху. Противовесом такой модели была модель, присутствовавшая в масонской литературе, ориентированная на смирение и самосовершенствование. На эту арену противостояния честолюбивой энергичности *сынов Отечества* и созерцательного фатализма *истинно добродетельных* в 1786 г. выступил Н. М. Карамзин, решительно совершивший революцию чувствительности, сместив фокус с морального совершенствования на эмоциональную реакцию: “Русский путешественник упаковывал эмоциональные модели, привезенные из Европы, и отправлял их читателям по всей Российской империи” (с. 232). С помощью Карамзина российская публика осваивала “интенсивное чтение” светских текстов, интериоризировала нормативные эмоциональные практики; так, реальные места, упомянутые Карамзиным в *Бедной Лизе*, привлекали массу читателей повести, стремившихся на берегах пруда, ставшего местом упокоения несчастной девушки, пережить острые эмоции. Как подчеркивает Зорин, это новое чтение не только было вполне “интенсивным,” но и открывающим пути к новым моделям эмоционального поведения. В этой связи заглавие, данное Зориным своей главе книги, обретает двойной смысл (возможно, так и было задумано автором!): “революция чтения” – это не только революция в манере чтения книг, но и революция в поведенческих практиках, спровоцированной новой техникой чтения.

Б. Григорян в главе “Изображения читателей и публики в российской периодике, 1769 – 1839” предлагает анализ развития романного жанра в российских журналах. Особо нужно отметить ее замечание о том, что учитывать в качестве читателей нужно не только современников того или

иною журнала, но и последующие поколения, так как, будучи прочтенными, журналы отправлялись не в корзину для бумаг, а на книжную полку; так, Аксаков, очевидно, читал журнал *Детское чтение* спустя 20 лет после выхода оригинального издания (с. 240). Хотя основными потребителями журналов были дворяне, сами издатели со времен Н. И. Новикова охотно подчеркивали свою ориентацию на широкий круг публики. Так сложилась традиция “дискурсивного симулирования” своей публики, достигшая пика в годы “подъема патриотически настроенных журналов во время войн с Наполеоном.” Такие издания, как *Русский вестник* и *Сын Отечества*, демонстративно обращались ко всем слоям населения. Импульс, заданный этими журналами, был позднее развит Н. И. Гречем и Ф. В. Булгариным, сделавшими ставку на “среднее состояние” и разнообразившими жанровую структуру своих изданий в борьбе за интерес этого слоя читателей.

Григорян характеризует ту социально-культурную среду, которая складывалась в 1-й трети XIX в. вокруг российских периодических изданий, как “николаевский издательский капитализм.” Анализируя тексты, в которых Булгарин описывал собственную аудиторию, состоящую преимущественно из чиновников, деятельно обсуждающих новости о ходе гражданской войны в Испании (интерес к испанским событиям, как помним, был высмеян в гоголевских “Записках сумасшедшего”), Григорян делает вывод: “Северная пчела симулировала оживленную дискуссию об иностранных новостях. Она, таким образом, представляла квазиполитическую публичную сферу, характеризовавшуюся своеобразным и весьма горячим чиновничьим общением на рабочих местах, импульс и темп которого задавали очередной выпуск газеты. Иными словами, распространение самодержавного издательского капитализма задает как градус политического обсуждения, так и его темп, ограничивает и сдерживает обсуждения, пока чиновники смиренно (*sheepishly*) ждут нового выпуска. Николаевский издательский капитализм, таким образом, одновременно делает публичную культуру обсуждения возможной и ограничивает, контролирует ее” (с. 253-254).

Начиная с *Отечественных записок* и дальше в глубину XIX века, так называемые толстые журналы доминировали в российской культурной сфере, открывая век реалистического романа, чья поэтика определялась в значительной части этим контекстом бытования. Использование прессой усредняющего культурного регистра помогло оформиться романной прозе и соответствующей чувствительности [...] Период, рассмотренный в этой статье, проложил путь хорошо известной связи между периодикой и романом, характерной для середины и конца XIX столетия, связи, выраженной в поэтике, тематической чувствительности, культурном регистре и, кроме прочего, в читательской, публичной и покупающей аудитории (с. 257).

Впрочем, даже расширенный усилиями Булгарина, Греча, Сенковского и других издателей журналов 1-й половины XIX в., “круг читателей оставался слишком маленьким, чтобы поддерживать творцов культуры;” смена поколений выдвинула на первый план вначале журналы Краевского, а потом и Некрасова, что попросту

выдавило Булгарина и Сенковского с рынка: “Можно предполагать, что обращения к демографически широкому кругу читающей публики, начавшись как риторический жест, к середине XIX века воплотились в реальной аудитории, на которую опирались Краевский и Некрасов” (с. 257).

Завершающая том статья С. Франклина “Читая улицы: очерки в области публичной графосферы, 1700 – 1950” выделяется по своему необычному замыслу и широкому охвату. Хотя Франклин активно привлекает разнообразные литературные источники, в центре его внимания – маргинальные в целом тексты, поджидавшие своих читателей на улицах, вместо тиражирования ради охвата большой аудитории нацеленные на привлечение внимания в конкретном локусе. Франклин начинает свой анализ с Иосифа Туробойского и надписей на триумфальных арках петровской эпохи, однако затем переходит к анализу вывесок торговых лавок. Франклин замечет: авторы середины XIX в. (такие, как Е. Расторгуев) выражали озабоченность тем фактом, что “Париж не имеет вывесок на иностранных языках; главные улицы Санкт-Петербурга имеют вывески только на иностранных языках,” и язвили насчет вывесок типа “Coiffeur Evgraf Semenov” (с. 275). Дальше наблюдения исследователя следуют по страницам прозы XIX в. (Некрасов) и советской прозы времен нэпа (Ильф и Петров) – вплоть до того судьбоносного момента, когда Наркомвнуторг, словно вняв мольбам литераторов XIX в., положил конец разноголосице и ввел жесткую систему стандартизованных вывесок – 45 лаконичных вариантов типа “Молоко” или “Культтовары.” Франклин обоснованно подчеркивает парадокс этого лаконизма: стандартные вывески магазинов были введены советскими властями именно тогда, когда – после карточного снабжения первой пятилетки – в Советском Союзе вновь начали поощрять потребление; активно использовавшиеся в публичном дискурсе СССР тех лет образы ломящихся от товаров прилавков контрастировали с лаконично-унылыми вывесками, имевшими сугубо информативную функцию и никак не пытавшимися притянуть покупателя к этим витринам. Таким образом, от первых уличных знаков, ориентированных на политическое прославление петровской монархии и одновременно столь непонятных, что для их прочтения требовались специальные инструкции, Россия перешла к растущему снизу разнообразию коммерческих вывесок, создававших настолько плотный поток значений, что искусство их читать сформировало отдельный тематический блок в литературе. Затем этих “куаферов Семеновых” сменила сухая, лаконичная система советских вывесок, возвращавшаяся ко временам Иосифа Туробойского в смысле навязывания значений сверху, но радикально отличавшаяся от петровских триумфальных арок нарочитой ясностью, сведением своего функционала к простому информированию.

Завершив по необходимости краткий обзор глав рецензируемого тома, перейдем теперь к обсуждению сквозных идей. Несмотря на то, что тексты, включенные в том, весьма различны по своим методам, стилистике и исследовательскому фокусу (это вполне естественно для сборника, в котором участвует много авторов), здесь есть ряд объединяющих, центральных

концепций, указывающих не столько на сознательно выработанное идейное единство, сколько на существование единой конвенции, на которую опираются исследователи. В той или иной мере все авторы рецензируемого издания задаются вопросом о том, до какой степени XVIII столетие можно считать водоразделом истории России. Практически все авторы указывают на тот факт, что в годы екатерининского царствования происходит крупный перелом в интеллектуальной культуре России и, в частности, в культуре чтения, при этом сущность данного перелома, который “весомо, грубо, зримо” выразился в росте количества печатных изданий, разные авторы определяют разными путями. В главах, посвященных началу XVIII в., Уо и Маркер с осторожностью, но весьма последовательно предостерегают от противопоставления модернизированной России и изоляционистской Московии. Однако по мере того, как на авансцену выдвигается “полированная,” изоциренная, высокоразвитая культура, начавшая формироваться в елизаветинской и окончательно сложившаяся в екатерининской России, исследовательский фокус в главах авторства Осповата, Бодена, Зорина и других меняется. Настоящий разрыв пролегает не по началу, а по середине XVIII столетия. Сообразно этому меняется и тональность работ: от осторожных полутонов к препарированию революционных сдвигов и трансформаций стратегий чтения.

Культуру чтения XVIII в. мы, при всех оговорках, четко отделяем от предшествующей традиции – и можем, по совету Г. Маркера, с облегчением “выдохнуть” – но и сам XVIII в. оказывается фрагментированным, и за облегченным выдохом снова приходится набрать воздуха в легкие, чтобы затаить дыхание. Следует ли считать, что “настоящий” XVIII век поместился между 1740-ми и 1790-ми гг., между “Ученой дружиной” и Французской революцией? Стоит ли 1-ю треть XVIII столетия рассматривать как переходный период? Эта рецензия не зря начата с метафоры морского плавания; сугубо эмоциональное впечатление от тома напоминает путешествие по воде, начавшееся в штиль и завершившееся посреди шторма, поднявшегося где-то около 1760-х годов и с тех пор лишь усиливавшегося: такова стилистическая разница между историческими работами по истории чтения, сфокусированными на начале и на конце XVIII столетия. Возможно, сама эта перемена заслуживает отдельного изучения. Тот разрыв середины XVIII в., который эмпирически выявляется при детальном изучении истории чтения (Г. Маркер удачно его обозначил в титуле своей главы: от “сообществ” – к “публике;” этот же разрыв можно проследить по исчезновению универсального словечка “книжник,” столь важного в отечественной традиции для характеристики читателей средневековой эпохи; на смену “книжникам” приходят “литераторы,” “публицисты,” “журналисты”), удивляет тем больше, что социальная история России вовсе не предполагает здесь разрыва. В целом, социальная и хозяйственная структура Российской империи на протяжении столетия оставалась неизменной, стабильной: абсолютная монархия, опиравшаяся на слой привилегированных землевладельцев; маршрут “от Петра I до Павла I” в целом был пройден весьма последовательным путем. И рецензируемый том, кроме прочего, показывает: вполне уживаются отсутствие социально-политических перемен и культурный динамизм, вплоть до формирования в конце XVIII в. российской публичной сферы в хабермасовских категориях.

Другая проблема – это напряжение между предписывающим характером текста и автономией читателя, пресловутый “парадокс де Серто;” этот французский мыслитель, по справедливому выражению Маркера, остается “неименуемой музой” рецензируемого тома. Многократно и в предисловии, и в главах, посвященных чтению в XVII – начале XVIII в. ставится вопрос о статусе устного текста и письменного текста, печатного текста и рукописного текста. Не то, чтобы рукопись полностью исчезла из обихода к концу XVIII в.; рукописи играли громадную роль еще в первые годы XXI в., и только массовое распространение электроники фактически покончило с этой традицией. Но число источников становится столь большим, что этим фактором можно – до известной степени! – пренебречь. Как только мы вступаем в тот период истории, когда поток печатных текстов достаточен для содержательного изучения практик чтения, эти вопросы сами собой отходят на задний план; от книжников мы переходим к книгоиздательскому процессу. Зато выдвигается на первый план проблема неравенства в читательской практике: есть производитель и есть потребитель текста (эта же методологическая концепция, кстати, лежит и в основе концепции буржуазной публичной сферы Хабермаса, населенной производителями и потребителями текстов). Чтение является дисциплинирующим процессом, оно порождает новые модели для практического поведения и служит основой не только для новых мыслей, но и для новых действий; одновременно оно становится все более инклюзивным, стремится втянуть как можно больше акторов в процесс производства текстов, стимулирует отклик, побуждает браться за перо. И в главах, рассмотренных выше, мы хорошо видим, как этот процесс, возглавленный стратой дворянских производителей и потребителей текстов, стал основой для форменной культурной гегемонии, в которой ведущую роль играли литературные модели, “интенсивное чтение,” культивирование чувственности. Так же, как дворянская элита при Петре I “придумала” единое дворянское сословие, а к концу XVIII столетия эта дискурсивная фигура реализовалась в конкретных институтах, дворянские издатели и литераторы “придумали” широкую публику, которая к середине XIX в. действительно выступила на сцену, хорошо подготовленную к ее появлению.⁹

Завершая этот обзор, необходимо сделать важное методологическое замечание относительно потенциала маргинальных источников. Данный путь намечен в очерке С. Франклина; чтение уличных вывесок и надписей – удачный пример того эффекта, который можно получить со сменой исследовательской оптики. Как обозначить статус вывески – это рукописный текст, печатный текст, быть может, устный? Отсюда, конечно, открывается увлекательная перспектива: надписи на стенах, на камнях и коре деревьев (их, кстати говоря,

⁹ Григорян в соответствующей главе охарактеризовала эту публичную сферу как “квазиполитическую.” Отметим, что это вовсе не мешало данной сфере быть “публичной” в хабермасовском смысле, разумеется, с поправкой на то, что сфера эта сложилась в условиях самодержавного государства, не знавшего парламентаризма. Хабермас аттестует публичную сферу как “буржуазную,” и, хотя в России гегемонами публичной сферы были авторы-дворяне, все же с середины XVIII в. она все больше и больше начинала жить по законам рынка, как пространство приложения критического мышления равных между собой производителей и потребителей мнений. Опять-таки, Григорян вполне обоснованно подчеркивает, что на первых порах этих потребителей настолько не хватало, что журналам приходилось их придумывать.

упоминает Зорин, анализируя тот новый статус, который *Бедная Лиза* придала пруду близ Симоновского монастыря – вот и точка соприкосновения), спичечные этикетки и почтовые марки, объявления, не говоря уже о колоссальном и в значительной мере затерянном континенте стенных газет и рекламных плакатов. Не меньшее значение имеет и анализ персональной коммуникации, от писем XVIII столетия до сообщений в мессенджерах XXI столетия. Такая оптика позволяет перейти от поиска “чудаков,” по выражению Маркера (опять-таки, здесь понимаются читатели-“браконьеры,” в духе де Серто), к поиску необычных массивов источников, возможно, с акцентом на визуальной стороне дела. Выявление таких массивов открывает широчайший простор для изучения, разумеется, не в ущерб уже сложившимся научным подходам и стратегиям.

Другая проблема – констатация усложнения российской читающей среды к концу XVIII в. Вывод, следующий из этой констатации, может оказаться старым выводом в духе М. Раева, писавшего о просвещенной политике императоров, оборачивавшейся парадоксом: самодержавие, требовавшее абсолютного послушания, воспитывает автономную личность, в итоге обращающуюся против самого самодержавия. В отличие от “парадокса де Серто,” являющегося, как нам кажется, весьма актуальным, “парадокс Раева” не кажется сегодня перспективным исследовательским направлением. Рецензент должен согласиться с К. Осповатом, убедительно показывающим, как изоцированная, развлекательная культура чтения эффективно интегрируется в общую политическую систему монархии; в целом, абсолютная монархия в России продержалась на протяжении всего XVIII и XIX вв., избежав крупных внутривластных вызовов, эффективно взаимодействуя с развитой, сложной культурой чтения, все в большей и большей степени светской, все более и более разнообразной! Конечно, велик соблазн рассматривать эту историю как стартовую точку продолжительного процесса окультуривания, диверсификации, ведущую широкой магистралью от времен *Трудолюбивой пчелы* до XXI столетия. Не то, чтобы такой взгляд не имел оснований, не то, чтобы следовало его считать неверным – и все же надо вновь вспомнить осторожное замечание Г. Маркера относительно поиска “чудаков.” Только можно это замечание трактовать расширительно: “чудаки” – не только те, кто прячется в отдаленных комплексах источников и всплывает откуда-то из глубины архивов при большой удаче исследователя. “Чудаковатым” в широком смысле можно считать аналитический взгляд, проблематизирующий и остраивающий вроде бы сложившуюся уже конвенцию, и тогда к Карамзину добавляются пьяные московские купцы, бесчинствующие на берегу пруда со своими “бедными лизами,” а к Булгарину – воображаемая публика из чиновников поприщинского типа, озабоченных перипетиями испанской политики. Да и “парадокс Раева” можно в этой связи прочесть по-новому: самодержавие до той степени воспитало автономную личность (с помощью, конечно, *Северной пчелы*), что та сделалась испанским королем и решительно отказалась ходить в департамент на службу. Как бы то ни было, проблематизация такого рода будет опираться на привлечение новых инструментариев, а этот процесс том “Истории чтения”, посвященный XVIII в., показывает ярко и рельефно – будь то история эмоций, социальная история или изучение визуального (графосферы).

Каков же итоговый вывод? “История чтения” – это междисциплинарный, глубокий по содержанию труд авторитетных специалистов по XVIII столетию, открывающий богатые перспективы для дальнейшей разработки актуального вопроса. Конечно, далеко не все темы, связанные с историей чтения в XVIII в., были затронуты в рецензируемом томе; это все же собрание работ, а не цельное и систематическое исследование, поэтому отражает оно в первую очередь интересы своих авторов. Своей ценности издание при этом, разумеется, не теряет, и с полным основанием можно рекомендовать этот том для обязательного прочтения каждому, кто изучает век Просвещения; чтобы, миновав и штиль, и шторм, этот корабль добрался до надежной гавани у вас на книжной полке.